



\* Б. Пастернак и К. Чуковский на 10-й конференции ВЛКСМ. 1932 год.  
Современная мажорность. — Рима. — 1990. — 10 февр. Репродукция И. ЗОТИНА. Фотохроника ТАСС.

# «Нет, вы не виноваты...»

К СТОЛЕТИЮ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Перед вами отрывок из выходящей в издательстве «Московский рабочий» книги писателя Даниила Данина «Это с нами войдет в поговорку». У нее есть подзаголовок «Пастернак и мы».

Одно из непреходящих воспоминаний юности — вечер Бориса Пастернака в клубе Московского университета на углу Моховой. Было это поздней осенью то ли 1933-го, то ли 1934-го года.

Переполненный зал вспыхивал аплодисментами не единым порывом, а островками. Это живо помнится, потому что было необычно для литвечеров. Мы — четверо студентов-химиков и внеуниверситетский мой друг Вальдик Кузнецов — являли собою один из вулканизирующих островков: начинали бешено хлопать за полстроки до окончания стихотворения, ибо все знали наизусть. Нас одергивали смиренно слушающие рядом, а мы огрызались, ощущая себя знатоками, а их — невежественной толпой. Они явно приваляли «на Пастернака» только из-за похвально-повального, но безличного поветрия тех лет — «повышать свой культурный уровень».

Наше стихосектанство было самонадеянно и невежливо, как любое сектанство. Но не осуждать же его нынче! Оно было чище чистого. Конечно, порою отдавало игрою в избранность. Но то была игра без ставок: ничье чужое достоинство в ней не проигрывалось. Лишь свое — утверждалось. Стоит сказать, что в читательском море 30-х годов (и, разумеется, позже) существовало много пастернаковских островов. Когда б не мрачность параллели, можно бы пошутить, что был целый «Архипелаг Пастернак!» И то, что он не исчезал, а множился на карте духовной жизни молодых поколений, когда-нибудь оценит — высоко оценит! — историк культуры. Может быть, он вот что поймет: те мальчики и девочки, взрослая, задавали в своем окружении, а становясь мамами-папами, передавали своему потомству некий повышенный уровень одухотворенности. Или — интеллектности. Бесприметной, но всеохватывающей. Та невесомая одухотворенность-интеллектность не приносила знаний, для дела необходимых. Она выглядела совершенно бесполезной для строителей Магнитки на пастернаковском Урале или для проходчиков метро в пастернаковской Москве. Однако...

## Борис ПАСТЕРНАК

Я тоже любил, и она жива еще.  
Все так же, катаясь в ту начальную рань,  
Стоят времена, исчезая за краешком  
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.  
По-прежнему давнее кажется давешним.  
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,  
Безумствует боль, притворяясь незнающей,  
Что больше она уж у нас не жилища.  
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь  
Всю жизнь удаляется, а не длится  
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

Разные лики нашей многоликой эпохи вели свой негласный соревновательный счет («гамбургский счет»). И были высоты выше горы Магнитной. Были глубины глубже станций метро. У качелей истории-жизни-природы обнаруживался никакими планами незапланированный разлет. Это как в третьей из пушкинских «Вариаций» Пастернака:

Мчались звезды.  
В море мыслись мысы.  
Слепла соль.  
И слезы высыхали.  
Были темны спальни.  
Мчались мысли.  
И прислушивался сфинкс  
к Сахаре.

...Море тронул ветерок  
с Марокко.  
Шел самум. Храпел  
в снегах Архангельск.  
Плыли свечи.  
Черновик «Пророка»  
Просыхал,  
и брезжил день на Ганге...

Мы качались на этих качелях — во весь их разлет. Качались замороженные не-объятностью открываемого поэзией мира и ненасытностью воображения художника. Не поддавалось ни перечислению, ни экзамену то, что узнавалось нами. Тут был бессилен счетоводческий стиль нашего Хозяина-скотвода: «две стороны», «три вывода», «четыре причины», «шесть условий» — семинарское пифагорейство для добровольно умо-заклоченных. А мы не жили в умо-заклочении. Или, по крайней мере, знали лазы на волю в сторожевой ограде... Трудно тут даются ясные определения. Но в этом-то и состояла неоценимая ценность пастернаковского вклада в нашу одухотворенность!

...КОГДА на том вечере стихи отзывались, Пастернак стал отвечать на вопросы.

Нас держало с закинутыми головами взузданное внимание: не пропустить бы в его ответах хоть слово! И потому на границе нашего островка разыгралось памятное происшествие. Прямо перед Вальдиком Кузнецовым юный дылда в ковбойке все привставал и ораторски выкидывал руку, будто чувствовал себя на броневики. Он выкрикивал архиглулые подначки, вроде «ого-го!» или «а еще что?». Это явно рассчитано было на обожаящие взгляды и прысканье студенточек ошую и одесную дылды. Мы свирепели: «Заткнись». Он не слушался. Последней его подначкой было: «Ид-деа-

замечательный ответ с почти магнитофонной точностью:

— Вы не виноваты, когда думаете, что для идеалиста внешний мир не существует. Нет, вы не виноваты. Но хочу уверить вас — мир существует! Даю честное слово... (веселый всхлип). А какой-то арум — это не говорящее животное, как полагает автор записки, а болотное растение... Простите меня!

Взрыв нашего смеха, как и аплодисменты, был острорывным.

НО ПОДУМАТЬ только — я рассказываю это как занятую историчку полувековой давности, не более того!



\* Советские и зарубежные издания книг Бориса Пастернака с 20-х годов до наших дней.

Фото И. ЗОТИНА. Фотохроника ТАСС.

лист!». Тут широкогрудый Вальдик, обычно невозмутимый, опустил ему на плечо свою мощную руку и с такою силой усадил на место, что материалист промазал мимо сиденья. Уже снизу доносилось: «Выйдешь на улицу, сволочь, поговорим!». Вальдик с бешеным спокойствием отозвался сверху: «Поговорим-поговорим, а пока чтоб тихо было, яс-сно?!» И стало тихо. А в тишине снова зазвучал для нас голос Пастернака:

— Да-а, да-а, эта записка — об идеализме. Она против меня! Я прочту ее целиком.

Он прибавил что-то благодарственное «за прямоту изобличения» и стал читать, не сдерживая коротеньких приступов внезапной смешливости, словно попутно прихлебывая нечто горячее и вкусное. Конечно, той записки мне не воспроизвести. Но помню, что Пастернак зло-вредно-идеалистически приписывал объективной реальности личные «мелкобуржуазные мнения», поскольку у него «какой-то арум не про-сил у болота милостыни». Ответ был короче записки. Мы его потом повторяли «в лицах», защищая Пастернака на тогдашний обычный лад, как «стихийного материалиста». Могу воспроизвести тот

Отчего же за ушами — то ли знобкий жарок, то ли легкий морозец? Благо ходкой Истории: интеллектуальные мальчишки-девочки нынешнего десятилетия уже не смогут представить себе — отчего температурит уши у рассказчика? А это — от стыда забывчивости!

Слова меняют не столько словарное значение, сколько историческое звучание. Какое от них раскатывается эхо, зависит от социального рельефа жизни вокруг. Сегодня безлобно-анадemicкое, слово «идеалист» звучало в 30-х опасно. Оно услужливо вертелось в соседстве с застеночными — «оппозиционер», «оппортунист», «вредитель»... Оно было из политического словаря, а вовсе не из философского. И в любой день могло послужить сигналом к расправе. Вся штука в том, что сверх вялых эпитетов — «объективный» или, там «субъективный» — идеализм обзавелся судьбодробительными: «махровый», «поповствущий», «меньшевистствующий»... Ах, ребята, мысленно говорю я еще живым университетским ровесникам, мы же это все проходили! «Уды» и «отлы» получали за это в зачетных книжках.

...Это ведь как раз о ту пору одареннейший физик Георгий Гамов — ленинградский одноклассник и друг Льва Ландау, но на беду еще и внук одесского епископа, смелый теоретик, уличаемый нашими догматиками в физическом — всего лишь физическом! — идеализме, нервно вычленил вероятность своего близкого ареста и в 34-м году не вернулся из парижской командировки, а потом превратился в американского физика Джорджа Гамоя, чтобы щедро прибавить людям понимания мега-, микро-, биомира природы, а под конец гибельно спиться от классической эмигрантской тоски по расточительной родине... Такое вот эхо, бывало, раскатывалось от слова «идеалист» на том рельефе жизни.

Пастернак в своей юности, изучая философию в Марбурге и Москве, проходил совсем не то, что мы в своей. Но в зрелости знал все наше получше нас: он не отметки получал, а удары! Отчего же так беспечально смеялось ему на том вечере в нашем клубе? Впрочем, из чего же следует, что беспечально? Верно, что улыбки-во, но совсем не весело сказал он — «вы не виноваты...». И сам не виноватый, зачем-то все-таки попросил простить его. За что?

СУТЬ в том, что был он из разряда тех наших лите-

Их-то, вечно без вины виноватых, всего более чттили-любили и защищали в спорах те юнцы из моего поколения «ровесники революции», кто чттил-любил и Пастернака вместе с Маяковским (да-да — вместе с Маяковским, хотя многим нынче они кажутся несовместимыми).

Сильнейшим доводом в защиту Пастернака была у нас в обращении строфа из недавней его книги «Второе рождение»:

В родстве со всем, что есть  
уверясь,  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя к концу не впасть,  
как в ересь,  
В неслыханную простоту...

И его невесело-шутливое «простите меня!» прозвучало на том вечере, как просьба не осуждать его за все трудное в стихах, что требует работы понимания. Особенно ясным это стало после его ответов на две записки с обращением «дорогой», будто спрашивали старые знакомые. Краткие те записки запомнились из-за его еще более кратких, мгновенных восклицаний. Мы их потом столько раз повторяли... (Как и ответ об идеализме).

Спрашивалось: «Дорогой БЛ, можете ли Вы раскрыть логически каждую Вашу строку?». Следовало молниеносное:

— Ах, нет! Каждую в отдельности я не р-раскрою!

Спрашивалось: «Дорогой БЛ, почему Ваши ранние стихи такие непонятные?». Следовало без раздумий:

— Ах, да это потому, что они р-ранние!

НА ТОМ клубном вечере все время ощущалась эта открытая его прямота и правдивость без утаек. И с таким чувством, что нам, юнцам, надо охранять его поэзию от посягательства недругов, мы и расположились в эпилоге вечера на тротуаре у выхода из клуба в ожидании боевой компании дылды, пообещавшего Вальдику «поговорить на улице». Мы долго там маячили, предвкусывая стычку под аркой зоологи-